

Нелли Портнова
Читателям мемуаров А. Штейнберга
«Литературный архипелаг»

«Мои воспоминания включают...»

1

Мемуары Аарона Штейнберга (1891—1975) были высоко оценены историками и читателями — по первому изданию 1991 г... как живое свидетельство культурной жизни послереволюционного Петрограда. Отмечалась необычность воспоминаний как своеобразного психологического романа. «То, что надиктовал в конце жизни А. З. Штейнберг, поражает именно чистотой — интонации, строя речи, отношения к предмету»¹. На основе личного архива автора было подготовлено 2-е издание²; появилась возможность уточнить философскую концепцию этой не совсем обычной книги воспоминаний.

Напомним, что она создавалась — писалась, а потом диктовалась на магнитофон, — в последние десятилетие жизни Штейнберга (1968—1972), когда его философские принципы были окончательно осмыслены в дневниках, научных, критических и публицистических текстах. В самом общем виде, они сводились к трем постулатам: единство мира, многообразие явлений, его составляющих³, и диалог как закон существования, мышления и позна-

© Nelly Portnova, 2011

© TSQ 35. Winter 2011 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

¹ А. Архангельский. Чистая книга. Страна и мир. 1992. № 2. С. 178.

² Штейнберг А. З. Литературный архипелаг. Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. Н. Портновой и В. Хазана. М.: НЛО, 2009. Далее страницы мемуаров указываются в тексте. Archives for the History of the Jewish People (Jerusalem), A. Steinberg's Collection.

³ Своим непосредственным учителем, после Парменида, понявшим и продемонстрировавшим единство мира, Штейнбергу считал Достоевско-

ния. Они не были приоритетными; оригинальность Штейнберга сказалась в том, что проверял их на себе, на своем опыте. Идея диалога, например, пронизывала уже его ранние дневники⁴; на ней строилось его понимание русского писателя в историческом докладе на двух заседаниях Вольфила⁵ и его печатный переработанный вариант «Система свободы Достоевского» (1923); диалогу ведущих европейских идей посвящена «повесть в 4 действиях» «Достоевский в Лондоне» (1932); реализации диалога между конфессиями и культурами он отдавал свои силы как критик, ученый и общественный деятель.

Штейнберг и раньше писал воспоминания в форме портретных очерков о своих современниках и членах семьи⁶. Теперь же, под давлением друзей, он начал работать над полной автобиографией⁷. В ней он хотел проверить, насколько верным был его путь: «дело не в том, что я делаю, а в оценке, вернее, в переоценке всех жизненных задач, когда-либо стоявших и отчасти продолжающих стоять передо мною. Я до сих пор этим занимаюсь и хотел бы занести результаты в протокол»⁸. Но этот замысел показался ему неподъемным, и Штейнберг решил сосредоточиться на одном периоде, когда, вернувшись после окончания войны в Россию (1918), он пересмотрел свои задачи философа: не построение собственной системы (сроки окончания которой все время откладывались), а внесение философского анализа в жизнь, в том числе, собственную. А. Штейнберг рассказывал не о

го, который «был наказан тем, что захотел создать систему, захотел понять все в единстве. Это была моя мысль, моя попытка представить Достоевского как единое целое в художественных его произведениях и политико-публицистических. Эта попытка была не напрасной» (89).

⁴ Nelly Portnova. Дневники Аарона Штейнберга как экзистенциальный текст. TSQ 33. Summer 2010: http://www.utoronto.ca/tsq/33/tsq_33_portnova.pdf

⁵ А. Steinberg's Collection. Vox VIII—IX. См. также: Белоус В. Г. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919—1924. — Книга первая. М. : 2005. 637—702.

⁶ Мой двинский друг Шломо Михоэлс. Рукопись пер. с идиш М. Улановской. Di Goldene Keyt. Tel-Aviv. 1962. № 43/ С. 142—152; Двоюродный брат Самуил/ Публ. , вступ. ст. и коммент. Н. А. Портновой // Архив еврейской истории. Т. 2. М. : 2005. С. 66—81; Adele, mein Bruder's Kind// Oifn Shvell № 2—3 (114—115) и др.

⁷ Их начало: Мои Архипелаги. Vox. VIII—IX.

⁸ Письмо Каплан 2 февраля 1968. Vox XIV.

том, как он жил с Россией в эмиграции (что обычно становилось объектом мемуаристов), а как Россия тех лет сохранилась в нем, а теперь ожила в образах, картинах, фразах⁹. «...опыт этого лета для меня не был опытом бальзамирования и сдачи материала о живых людях в музей мумий, а наоборот, опытом их как бы чудесного воскресения во всей конкретной обстановке места и времени». Ф. Каплан. 30. X. 1971. Мыслящий универсально, Штейнберг ценил пластику жизни и открывал ею неповторимость — как своих современников, так и динамику собственного жизнепонимания. Предлагаемый «путеводитель» по «Литературному архипелагу» сможет, надеемся, показать эту взаимосвязь.

2

Композиция портретных глав — разгадывание человека во время встреч с ним, бесед и разговоров. В 1-й главе этот путь начался со встречи 1910 г. Студент Штейнберг явился к лидеру символизма с банальной целью получить отзыв о своих стихах, чтобы выбрать между поэзией и философией. Он понимает дистанцию между ними: «Мысль, что я сижу лицом к лицу с этим великим мэтром...» (35), но вместе с тем, настойчив и замечает детали внешности: прическу «ежиком», янтарные глаза, карточку между пальцами. Но все это пока не открывает человека, а, чтобы понять глубину личности, он ждет какого-то характерного жеста. Стихи не очень понравились Брюсову, но, благодаря его рекомендации, молодой человек оказывается на Болонском Философском конгрессе, а там, от Анри Бергсона он узнает, что для понимания человека нужно «посмотреть ему в глаза», то есть заглянуть внутри души. Поэтому, когда в общественном мнении стали преобладать отрицательные суждения о Брюсове, Штейнберг не присоединился к ним — это значило бы отказаться от сложности характера.

⁹ Фани Каплан, жившая в Аннаполисе, стала в некоторой степени «со-автором» мемуаров; она не только помогала присылкой книг и газетных вырезок, но и приглашалась к творению общих воспоминаний: «Что же вы вспоминаете? — писал ей Штейнберг, — Театральный отдел, Вольфилу, Васильевский остров, суворовский проспект, и холод, и голод, и посылки Арра с шоколадом, и снежные сугробы, и белые ночи, и беседы, и людей, и особенно людей?».

Вторая глава противопоставляется первой, как одиночка Брюсов — Вольфиле, «архипелагу свободной мысли», соединившей оба начала живой и осмысленной жизни, интеллигенцию и массы. «Не было никакого сомнения, что мы и аудитория сомкнулись, слились с потоком народной энергии *в едином порыве* осветить происходящие события» (97), — вспоминал автор тогдашнее настроение.

Образ **А. Блока**, который не участвовал в работе содружества практически, но был его литературным знаменем, заявлен тоже деталью внешнего облика — улыбкой. «Блок будет появляться и исчезать в толпе современников, начал не с его поэзии, а с его улыбки». (Письмо Ф. Каплан 9. I. 1967). «Улыбка Блока» скрывала какую-то тайну, «меня поражала его *загадочность*» (Дневники. 24 II. 1965). Личная встреча была у них только одна, но чрезвычайно значительная, ставшая ударным эпизодом книги. «Очень продолжительная беседа» состоялась в камере ЧК, на общей кровати и под одной шубой. «Загадочный» поэт становится взволнованным и откровенным; оба сближаются благодаря «общности судьбы нашей». «Я давно уже ни с кем так откровенно не говорил», — признался Блок и на прощанье добавил: «А мы с вами, знаете, как Кириллов и Шатов провели ночь» (68). То была ночь самых ответственных переживаний, ночь понимания того, что значила улыбка поэта. Следовать за ним значило отстаивать культуру, преодолевая аморализм стихии, сам Блок, по словам Белого, этого испытания не выдержал: «русский поэт А. А. задохнулся в своем третьем испытании, в своей третьей ставке — задохнулся в том издыхании Дракона государственности, который опажнул его¹⁰.

Со следующим современником, председателем Вольфилы **Р. Ивановым-Разумником** ученого секретаря Вольфилы связывало «самое большое духовное созвучие». Кумиры Разумника: Герцен, Лавров и Михайловский, — стали его кумирами. Аскетически-целомудренный рыцарь, народник, максималист, интеллигент, «с мировоззрительным отношением к жизни»¹¹, «скиф» Разумник открыт, и его личность нуждается не в разгадывании, а в уважении и подражании. В эмиграции, до ареста в 1925 г., он

¹⁰ Белый А., Иванов-Разумник В., Штейнберг А. Памяти Александра Блока. Пб., 1922. С. 133.

¹¹ В. Белоус. Духовное завещание скифа. Звезда. 1996 № 3. С. 105—116.

продолжал «делать в своей области ту работу, которая переживет и диктат, и коммунизм»¹², сохраняя атмосферу идеализма Вольфильмы, а его бывший сотрудник с тревогой следит за судьбой старшего друга.

Насколько Иванов-Разумник реален и прочен, настолько **Андрей Белый** — символ свободной мысли и творчества — идеален и бесплотен. Чистый сосуд духовной энергии, ее «белизна», он все открывается и открывается. Сначала — через пластику физических движений, соответствующих свободному полету воображения. Восхищенные вольфильмы являются для него органической средой. Но вот он в Берлине, где кружок друзей, сделавший его популярным и авторитетным, отсутствует. А. Белый пробует организовать здесь отделение Вольного философского содружества — но тщетно. Продолжая следовать за прихотью своего гения, он оказывается «как бы перед пустым экраном» (147). Жесты его еще более неожиданны, вот они превращаются в пьяный танец. «Вольфила на танцплощадке!». Продолжаются наблюдения и осторожные беседы. Инфантильный и беспомощный, Белый ищет опоры, теперь ему кажется, что осталась единственная — родной язык. И Штейнберг оправдывает его возвращение в Россию, ибо: «Без воздуха нельзя жить органичному человеку», как говорил сам Белый о Блоке. Наблюдения, беседы, анализ и интуиция, наконец, обобщение: «в какой-то момент каждый из нас может стать воплощением судьбы всего человечества». Проникновение в глубь личности Белого позволило сотворить в душе образ «духовной действительности»: «Наблюдая самого себя, склонен думать, что многое зависит от верности вере. Вчера прочел подробно письмо А. Белого жене от ноября 1921 г. <...> и поразился, через что и как мы прошли «целыми» тогда...». 6 VI. 1968; «...может быть, мне повезет со стенографисткой и я смогу продиктовать и другие занятные главы, все списанные с «чела века», выражаясь языком твоим и Андрея Белого». 22. II. 1974.

Портрет **М. Горького** отличается изменчивостью оценки. Сначала, в черновиках, была опробована версия личного и семейного опыта; книжный образ писателя как «живого символа

¹² В. Г. Белоус. Изгнание скифа// Вестник Русского Христианского движения. 1997. № 175. С. 151

благочестивого демократизма» и «всечеловеческой правды» продолжен «семейными» встречами: дяди Исидора Эляшева, идишского критика и писателя, брата Исаака Штейнберга и отца. Последним этапом «выставления» в этой версии должна была стать собственная встреча. Но тут текст оборвался — «семейные» источники истощились, а образ оказался неполным.

В том варианте образа Горького, который стал главой книги, принят иной подход: личные встречи дополняются мнениями других. Сначала автор наполнил понятие «две души», которое было распространено в то время. Вероятно, был прав Иванов-Разумник, видевший в Горьком страсть к власти. С другой стороны, Горький — несомненный юдофил, — размышляет Штейнберг. Но и в этом направлении автора ожидает разочарование: после случая с эсером Хацкельсом, которого Горький отказался освободить, явилось решение: «не подам руки». Однако арестованному брату Горький помогает, и снова открывается этап сомнений. В итоге: ни точка зрения Разумника о «духовной власти», ни формула «двоедушия» — не исчерпывают явления; любой ответ относителен, ибо «душ» у Горького много.

В 5 главе Штейнберг возвращается к групповому портрету: русские интеллигенты, на волне революционного энтузиазма, собираются для литературного творчества. Каждый из них самобытен — В. Иванов-Разумник, А. Кони, Н. Гумилев, И. Замятин. Первый наделен талантом открывателя самородков, второй — «сват Замятина», общий спонсор; поэт Н. Гумилев и писатель И. Замятин творят «самоцветное слово». Трудно подыскать подходящую характеристику для **Гумилева**: как поэт он любит слова, но как офицер — живет героическими страстями. После гибели Гумилева Штейнберг обращается к общечеловеческому критерию: «Гумилев был для меня не просто поэтом, не просто офицером, а **живым** человеком, со своими своеобразными странностями, со своею безумной храбростью...».

Трезвый самородок **И. Замятин** — писатель с таким необыкновенным языком, что ему место только в России, — «прямая противоположность» Гумилеву. Но время их уравнивает: Гумилев убит большевиками, а Замятин уезжает во Францию и вскоре умирает там. Так посредством смены и гибкости критериев

составляется равновесие неповторимости и общности, единства и разнообразия.

Глава «На петербургском перекрестке» необычна. Образ **В. В. Розанова** описывается по существу через единственную встречу, встречу, устроенную по просьбе самого автора. Давно ставший кумиром русской интеллигенции, Розанов как раз во время «процесса Бейлиса» вдруг оказался юдофобом. У Штейнберга вспыхнуло естественное желание объясниться, задать писателю «вопросы». Но наряду с этой целью с самого начала студент-философ Гейдельберга, приехавший в Россию на каникулы, занят вопросами общими; готовясь к встрече, он спрашивает себя: как может человек, выражавший ранее тонкое понимание еврейского характера, так противоречить себе? «...может быть, Василий Васильевич издевается надо мной?», может быть, он «отстал», и его философское образование недостаточно?

Воскресный визит к Розанову описан с психологическим изяществом. Штейнберг остро чувствует настроение каждого из гостей, больной жены, грустных подавленных дочерей, он наблюдает, сознавая, что понять человека можно только с учетом всего в нем. И это **всё** смягчает душу, утишает гнев. «А я, доложу тебе, — писал он Ф. Каплан через много лет, — дал нечто вроде обета, не говорить дурно о людях. Сердце мое беззащитно, и иногда подает небольшой сигнал, как накануне нашей Первой Войны, когда я пошел переубеждать В. В. Розанова» (16 июля 1974).

Героиня главы «**Острый взгляд Ольги Форш**» — самая скромная в галерее русских интеллигентов. Не обладая «самоцветным словом», как Замятин, не страдая от отсутствия свободы творчества, как Блок или Белый, конформистка, сумевшая удержаться в этой жизни, в которой погибли выдающиеся, она стала «в ряд писателей, распространивших советское мышление». В чем дело? Причиной такой судьбы является, по мнению автора, желание «непрерывно выжить», «непрерывно пережить», то есть, витальность, «живое сознание», «живая сила», без которой общая жизнь не может продолжаться. В конце концов единоборством с Горьким Ольга Форш доказала свой «острый взгляд», а с ним — и самобытность, добавляя еще один аргумент в пользу универсального закона «единства-многообразия».

Так постепенно русские литераторы «серебряного века» внимательно выслушаны, терпеливо просвечены и, каждый принят как живой свидетель рокового времени.

3

Две последние главы посвящены философам Л. Карсавину и Л. Шестову. На первый план выходят идеи; отдельные встречи перерастают в длинные, на много лет, диалоги.

Эпиграфом к портрету **Льва Платоновича Карсавина** поставлен кабалистический образ Творения: «Счастливы слепленные сосуды, даже когда они разбиты на мелкие осколки, отражают в каждом из них свою удачную форму». Он становится метафорой распавшегося содружества, которое необходимо воссоздать. Если это невозможно в форме философского объединения, значит нужно воспроизвести ее дух в каждом человеке-осколке. Л. Карсавин, не принимавший участия в петроградской Вольфиле, был близок ей по духу и в небольшом берлинском кружке восстанавливал дух «совольфильства. Притягивали его необыкновенные древнегреческие глаза, «добротолюбие» и доброжелательность, умение ценить достоинства другого и «резать правду-матку», привлекала цельность натуры. «Было у нас много общего». Но в процессе непрерывного диалога («Мы беседовали с Львом Платоновичем и сходились на том», «Мы спорили, мы совместно исследовали») выясняются и различия: ставший евразийцем Карсавин горячо верил, что православная церковь станет в будущем вселенской, и в нее должны вступить и русские евреи. Взаимное уважение позволило в 1928 г. перевести полемику на публичный уровень: Штейнберг выступил в «Верстах» с «Ответом Карсавину», его показалось недостаточно, и в том же номере появилась лучшая в эмиграции работа по «еврейскому вопросу» «Достоевский и еврейство». Штейнберг представил идеальный диалог с оппонентом, когда предполагается полное открытие различий и противоречий, как в национальных культурах, так и в индивидуумах. «Русские мальчишки» всю жизнь продолжали обсуждать мировые вопросы под другими небесами, в другое время¹³.

¹³ См. : А. Архангельский. Чистая книга. Страна и мир. 1992. № 2. С. 178

Особенность последней главы, о **Льве Шестове**, чувствуется сразу: она более похожа на самостоятельный очерк. Действительно, Штейнберг написал сначала специальной эссе о русском философе, которое, в переработанном виде, вошла в книгу, завершив ее.

Во встречах и беседах с Шестовым, происходивших на протяжении долгих лет, поднимались самые разные проблемы: судьба философии, соотношение «чистой» философии и писательства, личность философа, национальное начало в его судьбе, тема Палестины и пр.

Начиналось в юности, когда реакция юноши выражалась бурно-эмоционально: в первую встречу, на волне преклонения к оригинальному русскому мыслителю нового типа (1910), он учится у него и задает вопросы, затем — разочаровывается из-за нефилософского тщеславия Шестова, но в 1918 г., когда становится ясно, что в революционной России «присутствовал Шестов как непрерывно действующая духовная потенция», возвращается к уважению. Далее последовали эмигрантские перипетии, когда автор, как к опыту горьковского портрета, привлек к своему исследованию мнения других, устроив некий «процесс». Одна из точек суждения — национальное поведение Льва Исааковича Шестова-Шварцмана; здесь важны оценки родителей на их языке. Разговоры ведутся через пространства и личностные миры, включен европейский фон (заехать к Гуссерлю, чтобы доспорить!). Шестов в своих работах связывал культурные ценности: Танах и Фрейда, Раши и Толстого, но для своей сестры он — невротик, а в светском салоне служит приманкой публики. Как это связать? В глазах автора Шестов отождествляет себя с самыми разными точками зрения; невозможно остановиться и вынести приговор, в конце концов, может быть, все зигзаги его поведения происходят от желания прорваться через все преграды, стоящие между человеком и человеком? При этом Штейнберг-аналитик («я продолжал присматриваться, задумываться, расспрашивать о Шестове») открыт любым изменениям оценки: «поворот мысли совершенно неожиданный!», «я был смущен и огорчен», «мне было неловко». Последняя сцена — в самолете — кончается, аналогично корсавинскому этюду: «Я слушал и учился. Даже под-

дразнивал, дерзил». В сложном психологическом-философском «романе» с Шестовым соединилось несколько процессов: проникновение в тайну его личности, собственное духовное развитие (всю жизнь продолжал поиски «подходящей формулы для этого причудливого русско-еврейского силуэта»), высвобождение идейных потенций века.

5

Что же в итоге выносит читатель из этой насыщенной событиями, характерами и полемикой небольшой книги? Во-1-х, это ощущение атмосферы духовных исканий, которая еще существовала в первые послереволюционные годы, перед окончательным воцарением насилия и которая в мемуарах других писателей-эмигрантов обычно затенялась политическими и социальными проявлениями катастрофы. Штейнберг фокусирует внимание на духовных вопросах в той мере, в какой для него они остались важными и руководящими на всю последующую жизнь. Об этой особенности содержания мемуаров написала автору Фанни Каплан: «Через портреты ты выявишь соборный дух того времени, хотя и небольшой, но исключительной группы людей, покажешь, куда уносились их *мысль* в самом разгаре революции и как искали они (и конечно, не находили!) ответы на самые злободневные и философские, и политические вопросы и на людях, и в Вольфиле, и в частных беседах. Люди у тебя живут в обстановке “страшных лет”, а “страшные годы” осветятся духовностью этих людей»¹⁴. Во 2-х, каждая встреча и каждый спор с участниками культурного процесса служат проверкой на прочность авторского мироощущения: «общественник» В. Иванов-Разумник выдвигает на первый план этический максимализм, поэт Н. Гумилев — сословную офицерскую честь, писатель-самородок И. Замятин — творческое начало языка. Белый абсолютно не в состоянии жить без свободного и полного творческого самовыражения, причем, в зеркале восприятия других, О. Форш, наоборот, как будто не предъявляет обществу условия творческого самовыражения, но зато у нее силен инстинкт выживания, продолжения самой жизни. Идеолог нового русского мышления Лев Шестов,

¹⁴ Ф. Каплан — А. Штейнбергу. 28. VII. 1971.

представлявший его новаторство Европе, поворачивается то одним, то другим изъяном своего человеческого облика. И т. д. Кроме того, многие из них, в той или иной мере и по разным личным мотивам оказываются замешанными в привычном российском антисемитизме. Но масштабы измерения и оценки человека у Штейнберга настолько универсальны, что его идеологема «единство-многообразие-диалог» выдерживает эту проверку. Штейнберг старался привести отдельные портреты к объединяющему их единству, и ему это удалось.

Нельзя не заметить, что на повествовании лежит печать ностальгии по утраченному навсегда совместному интеллектуальному творчеству. Но в открытом финале — в романтической форме энергичного посыла к читателям — автор подчеркивает ответственность одиночки за продолжение традиции познания: будем думать, не устанем разговаривать через пространство и время. «Пока я жив, я продолжаю свои беседы с Львом Исааковичем».